



В. В. РОЗАНОВ

Мережковский против «Вех»

(Последнее религиозно-философское собрание)

В душе человека большой образованности, большой начитанности, наконец, многих переживших собственные переживания всегда существует как бы *склад* идей, образов, точек зрения, сравнений, из которых в данную минуту он может выбрать любое, ему понадобившееся или ему в данный вечер или утро нравящееся, и, немного погрев на сальной свечке, показать его перед людьми как пыл сердца, сегодняшний пыл... Читатели или слушающая публика всегда будут обмануты, не различая горячего от подогретого.

Говорит человек громко и жестикулируя. Из начитанных сравнений он выдергивает одно, особенно яркое, патетичное, и по узору этого сравнения лепит собственные слова, выходящие из вялой полуумершей души. И вялая, полуумершая душа кажется горящему необыкновенно ярким и благородным пламенем. Кто же в душном зале разберет, что это горит чужое сравнение, что около него стоит бледный и бессильный человек, который совершает собственно художественный плагиат, софистический плагиат... Все, взирая на престижистатора¹ фраз, говорят: «Вот пророк!»

Подобное зрелище, обманчивое и грустное, представил Д. С. Мережковский в последнем религиозно-философском собрании, опрокинувшись на авторов сборника «Вехи», гг. Булгакова, Бердяева, Изгоева, Гершензона, Кистяковского, Франка, Струве. Его чтение было так талантливо, до того блестяще, так остроумно и колко, что не только публика слушавшая, но вот и я, грешный, все прерывал чтение хлопками². Мережковский так и блестел, и руки сами и неудержимо хлопали. Всякий блеск очаровывает, ослепляет. И почти час прошел после чтения, когда я подумал: Боже мой, да ведь это все говорил До-

стоевский, а не Мережковский. Это — Достоевский блестел, а Мережковский около него лепился. Ведь то же самое сравнение, которое он взял у Достоевского, можно повернуть против него самого, Мережковского. Лично Достоевский так бы и поступил: кто же не помнит, как в «Дневнике писателя» он выступил в защиту... мясников Охотного ряда, побивших в Москве студентов; он говорил, что и Кузьма Минин-Сухоруков, спасший из Нижнего Москву, был тоже мясной торговец³. Вообще *народный* и антиинтеллигентный характер воззрений Достоевского бесспорен. Но Достоевский теперь мертв, а живой Мережковский подкрался, вынул из кармана его смертоносное оружие и пронзил им... не недвижимого мертвеца, а его духовных и пламенных детей, его пламеннейших учеников.

В Москве вышел сборник «Вехи».

Понятие о нем дал А. А. Столыпин в своей заметке⁴. От себя я скажу, что это — самая грустная и самая благородная книга, какая появлялась за последние годы. Книга, полная героизма и самоотречения. Кто знает Достоевского и помнит его «Бесов», тому я все объясню, сказав, что авторы «Вех» с поразительной подробностью и точностью повторили судьбу и исповедание благородного Шатова, который, залезши в самую гущу революционеров и революции, потом отошел от нее, грустно, в раздумьи... Достоевский представил суд и убийство этого Шатова революционерами. Мережковский, конечно, помнит, как в мокрую московскую ночь поручик Эркель, подскочив, приставил дуло револьвера к виску полубольного Шатова, курок хлопнул, и все было кончено. Этот поручик Эркель был полусвятой маньяк: по ночам он зажигал лампадку перед портретом Огюста Конта и молился ему⁵. Словом, был «идеалистом», вот как Мережковский и Философов... Но он и все друзья его были люди холодные, бездушные, с рыбею или лягушачею кровью. Мозговые теоретики, без чистой и горячей крови.

Чистая кровь, какую нес в себе Шатов, она отошла в сторону... Ушла к народу, возвратилась «в быт». Вот судьба и будущее нашей революции. О ней, с год назад, я выслушал лучшее замечание одного нашего маленького декадента, Е. П. Иванова⁶. «Достоинство русской революции, — сказал он задумчиво, — заключается в том, что она не удалась». Он хотел сказать, что русские могут начать безобразие, но не могут его кончить, не по бессилию, но по сердцу, по нравственному содроганию. Революция бесспорно включает в себе жестокое, лютное, хотя бы даже и справедливое. И довести до конца «казнь действительности» русские не могут уже оттого, что вот между ними, меж-

ду самыми суровыми революционерами или радикалами, вдруг показываются Шатовы или авторы «Вех». И все расплывается, расседается.

И слава Богу. Если прогресс жесток — я не хочу прогресса; если прогресс жесток — мы, русские, лучше будем сидеть в старой избенке и жевать черствый хлеб.

Как глубокомысленный Е. П. Иванов сказал, что «революция *оправдалась* в том, что она не удалась», так я добавлю об интеллигенции: над черствой бесчувственностью ее и черным бесстыдством ее можно было бы поставить крест, не появившись «Вехи»; но эти русские интеллигенты, все бывшие радикалы, почти эсдеки, и во всяком случае шедшие далеко левее Мережковского, Философова, Розанова, когда-то деятели и ораторы шумных митингов (Булгаков), вожди кадетов (Струве), позитивисты и марксисты не только в статьях журнальных, но и в действии, в фактической борьбе с правительством, этим удивительным словом в сущности о себе и своем прошлом, о своих *вчерашних страстнейших* убеждениях, о *всей своей собственной личности* вдруг подняли интеллигенцию из той ямы и того рубища, в которых она задыхалась, в высокую лазурь неба. Раз появились «Вехи», Шатов, — значит, русская интеллигенция жива. Да и не только жива, а перед нею лежит громадная будучность, лежит безграничная дорога.

Нравственный позор революции и интеллигенции заключался в ее хвастовстве, в ее бахвальстве, в ее самоупоении. Это было какое-то дубовое самоупоение, которого не проткнешь. Все «мертвые души» Гоголя вдруг выскочили в интеллигенцию, и началось такое «шествование», от которого только оставалось запахнуть дверь. Все, от чего погибло христианство, — это бахвальство попов, это самоупоение митр⁷, это «непогрешимость» их, — очутилось вдруг в багаже эсдеков, кадетов, интеллигентов и проч.

Смрад, ужас и «затворяй ворота». Ибо победить это «триумфальное шествование» кто же мог?!.

И вдруг погребальные «Вехи»... Это — как чистый понедельник после масленицы; великое покаяние: «Господи владыко живота моего...»

Вдруг все оказалось спасенным. Спасенною оказалась именно интеллигенция. Русскому народу, глубоким частям русского общества и наконец русскому государству не в его *concretum*, которое или ничтожно, или порочно, но в его *idea*, которая ведь остается же, вдруг всему этому оказалось возможным с *кем-то говорить* в образованных кругах, с *кем-то взаимодей-*

ствовать среди студенчества и профессоров, среди писателей; вдруг оказалось возможным *откуда-то звать людей на помощь*.

Ибо ведь государство-то наше, страна наша — захудалы, несчастны.

Звать ли людей оттуда, откуда идет только ненависть, проклятие? Да и что за охота менять Держиморду на Петрушу Верховенского? Ведь этот «согнет в дугу» почище Держиморды. Ведь он кушал холодную курочку в самый час самоубийства, по его подговору, благородного Кириллова⁸.

Кстати, Достоевский своими «Бесами» написал то самое, буквально то, что написали профессора и полупрофессора «Вех», написали не гениально, хотя и с талантом, но, главным образом, написали в высшей степени чистосердечно, мужественно, прямо, резко. Кстати, они искупили и «профессоров», которых давно как-то и называть стало неловко без кавычек.

Были «профессора»... Но появились «Вехи» и стали — профессора.

Была «интеллигенция»... Но после исповеданий братьев наших в «Вехах» мы можем говорить, что у нас действительно есть... образованный, прямой, русский класс...

Вовсе Булгаков и другие не зарезали русскую интеллигенцию. Они сами зарезались. И воскресли. Погреблись и ожили. Как это специалист по «христианским делам» Мережковский⁹ этого не понял? Не оценил, не почувствовал. Но дело в том, что и христианство для него одна из пережитых идей, которую он престижизитаторски выдергивает там и здесь последние 2—3 года для красоты и эстетического украшения своей личности. Все уже холодно и помертвело в том «складе» чувств, «амбаре» былых настроений и умерших целых цивилизаций, каковой изображает собой новейший Аполлоний Тианский, или польско-русский новейший Товянский...¹⁰

Как же он поступал с этими шестью интеллигентами — Шатовыми? Немногим лучше поручика Эркеля...

При хохоте зала он их пинал ногами, бил дубьем — безжалостно, горько, мучительно. Весь тон был невыносимо презрительный, невыносимо высокомерный... Дмитрий Сергеевич горел звездой над болотными огоньками «Вех». Это нечестное дело нельзя было делать прямо... И он делал это косвенно, воспользовавшись сравнением Достоевского, абсолютно не шедшим к делу, абсолютно обратным делу.

Что такое эти шесть¹¹ интеллигентов, составивших «Вехи»?.. Абсолютно бессильны и слабы, как Шатов: у них нет

того имени, которым обладает Мережковский, нет готовых к услугам столбцов газет. Они именно написали сборник, исповедание от себя, книгу. Кто же книги в наше время читает? Читают газеты. К их услугам нет и религиозно-философских собраний.

Но Мережковский перевернул все дело: русскую интеллигенцию, могущественную, владеющую всею печатью, с которою очень и очень считается правительство, которая представляется все-таки не маленькою вещью — восемью университетами, — он представил плачущею, жалкою лошадекою в сне Раскольникова, которая везет воз с сидящими на нем пьяными озорниками-мужиками (Россия — в сравнении Мережковского), и вот они, эти пьяные мужики, сперва секут до изнеможения эту клячонку-интеллигенцию, затем секут ее по глазам, больно, мучительно; и она везет, но нет сил — остановилась. И тогда один подходит и ударяет ее железным ломом¹².

Клячонка пала.

Клячонка издохла.

«Так жестокие люди, эти Струве, Булгаков, Бердяев, Изгоев, Гершензон, удар за ударом наносят дохлой клячонке-интеллигенции».

Свалилась, пала... И Мережковский, маленький и страдальческий, бегают около лошадеки, ласкает, целует ее в глаза и жалуется на тех грубых, жестоких мужиков.

«Браво! Браво! Браво!» И я кричал «браво». Ну, что же: талант обманывает.

Но как грустно, что даже слезы, все, все, и «вздохи матери», и «скорбь друга», все, чем живут цивилизации и тепел каждый дом, — тоже пошло на грим актера, на пудру актрисы. Есть ли религия, когда молитвы читает актер, и «даже лучше священника»... Страшно и жутко жить на свете.

Против «Вех» кричал и Стоппнер¹³, практический социал-демократ: маленький, лысый, красный, как вареный рак, он стал совсем спиной к публике и кричал на тут же сидевшего и наклонившего низко голову Струве. Это было хорошо. Отчего не хорошо? Сцепились два интеллигента, прямо за волосы, без фраз. Он кричал об англичанах, об Изгоеве, об онанистах (буквально), всех проклиная и защищая русскую интеллигенцию как героическую, как носительницу идеала и вечного улучшения. Тряс скрюченными, кажется немытыми, пальцами. И признаюсь, я не знал, кто мне больше друг и близкий, Струве или Стоппнер. Но я почувствовал, что в обоих их интеллигенция оправдана и жива.

Тогда как в бездушном обвинительном акте Мережковского она была мертва.

И я, эти два года перешептавший себе все то, что написано в «Вехах», — купив эту книжку (хотя еще не прочитав ее), поднимаю кубок за цветущую, прекрасную русскую интеллигенцию, говоря:

После Великого поста — Пасха! Кайтесь больно, до конца, до могилы: догребитесь. И тогда воскреснете в бесконечную радость, в торжество, и воскресите все, но в другом виде, в очищенном и кротком виде, от 14 декабря и до 17 октября, и дальше, гораздо дальше, бесконечно дальше...

(Новое время. 1909. № 11897. 27 апреля (10 мая). С. 3)

